АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН

СКУКИ РАДИ

Александр Герцен

Скуки ради

«Public Domain»
1869

Герцен А. И.

Скуки ради / А. И. Герцен — «Public Domain», 1869

«Я сел в вагон в самом скверном расположении духа, – ехать в путь, когда не хочется, скучно; ехать на лечение – еще скучнее… но чувствовать себя ко всему этому совершенно здоровым… этого и выразить нельзя…»

© Герцен А. И., 1869
© Public Domain, 1869

Содержание

I 5
II 8
III 10
IV 12
Конец ознакомительного фрагмента. 15

Александр Герцен
Скуки ради

I

Я сел в вагон в самом скверном расположении духа, – ехать в путь, когда не хочется, скучно; ехать на лечение – еще скучнее… но чувствовать себя ко всему этому совершенно здоровым… этого и выразить нельзя…

Быть не в духе, скучать, капризничать можно, когда кто-нибудь этим огорчается, занимается, когда кто-нибудь развлекает, а сидеть в вагоне и знать, что никому дела нет до этого, что никто не обращает внимания, это выше сил человеческих.

Я попробовал придраться к соседу за то, что у него дорожный мешок велик, и нарочно сказал ему: «Ваш *чемодан* мне мешает». Дурак извинился и переложил с кротостью мешок на другое место.

Поэты говорят, что вынести они могут многое, но что им надобно *пропеть* свое горе… Пропеть *кому-нибудь* – петь без уха слушающего так же трудно, как легко петь без голоса… Уха-то, уха пригодного у меня недоставало. «Впрочем, – подумал я, – поэты для большего удобства поют чернилами, а я буду капризничать карандашом…» Затем я вынул из кармана только что купленный «Memorandum» и еще раз окинул взглядом соседей. Их было четверо – четыре в четырех углах. Когда это они успели забиться, сейчас нас спустили из salle d'attente[1]. Что за безобразные рожи! Надобно правду сказать, род человеческий некрасив. Через две станции трое вышли, и, едва я успел броситься в угол, взошли трое других, еще хуже, – так и видно, что череп им жмет мозг, как узкий сапог, что мысль их похожа на китайские ножки, на которых ходить нельзя, – слаба, мала, тесна… А жиру вволю. Средний класс во Франции очень потолстел за последние двадцать лет.

Впрочем, на каком же основании ждал я Аполлонов Бельведерских в случайном наплыве, который зачерпывала железная дорога chemin[2], почти не останавливаясь.

Красота вообще редкость; есть целые народы из *меньших братий*, у которых никакой нет красоты, например, обезьяны с своими ирландскими челюстями, молодыми морщинами и выдавшимися зубами, лягушки с глазами навыкате и ртом до ушей… Да и часто ли встречается красивая лошадь, собака? Одна природа постоянно красива, потому что мы на нее смотрим издали, с благородной дистанции; к тому же она нам посторонняя, и мы с ней не ведем никаких счетов, не имеем никаких личностей, смотрим на нее как чужие и просто не видим тех безобразий, которые нам бросаются в глаза в человеческих лицах и даже в звериных, имеющих с нашими родственное сходство. А присмотришься к лицам и, при всем их безобразии, не отвернешься. Лицо – послужной список, в котором все отмечено, паспорт, на котором визы остаются. И как это все умещается между темем и подбородком, все, с малейшими подробностями, нескромностями и обличениями, все вываяно бедными средствами мышц, жира, оболочек и костей! Недаром мне Фан-Муйден говорил: «Чем больше я рисую, тем больше меня занимают лица, одни лица, головы, физиономии; что за неисчерпаемое богатство оттенков выражений» – «и невольных исповедей», – прибавил я.

Решительно, я слишком строго осудил тесные лбы, теснящие черепа, толстые носы, глупые глаза, ненужные усы, – все оттого, что был не в духе. Очень много уже бед было со мной еще до вагона. Перед самым отъездом оторвалась пряжка у чемодана. Господи, как

---

[1] зала ожидания (*фр.*)

[2] попутно (*фр.*)

смешно, беспомощно стоит наш брат перед такой бедой… Если б нас между Расином и Шиллером немного учили шилу да игле, взял бы да починил, а тут комическое отчаяние и мрачные рассуждения. Только что я успокоился на том, что без пряжки можно обойтиться, стоит запереть чемодан, – ключ пропал! Сейчас был здесь, вот на этом столе, как теперь вижу; перерываю, перебрасываю все – ключа нет, и я, утомившись, сел на стул, самоотверженно скрестив руки на груди. Рази, мол, судьба, если еще есть стрела.

Какое счастье было в старые годы, когда при ремне, при ключе состоял камердинер, и на нем можно было взыскать, зачем перегорел ремень и зачем сам потерял ключ. Ничего не может быть вреднее для здоровья, как именно то, что нельзя выместить на ком-нибудь беду, – поди тут и берегись.

Лонже, знаменитый физиолог, Лонже de l'lnstitut, его авторитета не отведет никто, раз подымался со мной в Монпелье, по улице, идущей вверх от Медицинской школы.

– Куда вы торопитесь? – сказал он мне, останавливаясь. – Не у всех такие легкие, как у вас, я вот не могу перевести духа. Погодите минуту, я вам расскажу, отчего я задыхаюсь: это очень любопытно. Вы, верно, знаете старого дурака (здесь он назвал одного академика, которого имя так громко, что я не хочу обозначить его даже предательскими заглавными буквами), il est tout ramolli[3] а все презлая бестия; меня он терпеть не мог и врал на меня всякую чушь; я долго спускал ему, но наконец решился ему дать урок. «Как, – говорю я ему, – *вы*, негодный старикашка… – и взял его за плечо (при этом он сделал на мне повторение манипуляции, – я хоть и не ramlli, но чуть не вскрикнул), – говорили то-то и то-то, да в заседании института, знаете ли, что таких негодяев, клеветников, как вы…» А старик, перетрусивши, растерялся, начал извиняться, уверял, что он не то говорил, что он вперед не будет. Я бросил его и выбежал вне себя на улицу; ветер был скверный, я пришел домой, и на другой день, monsieur, у меня сделалась pleuresie[4], monsieur, и вот отчего я задыхаюсь. Не будь этот урод такой подлый, я бы ему дал пинка, два пинка, и этим вся первая буря разрешилась бы покойно и естественно, и у меня не было бы плерези, и я не задыхался бы! Экой изверг!

А ключей все нет; что же, я буду делать без них? «Sonnez pour Thomme de charge trois fois»[5], встав, тихо и торжественно подошел я к звонку, жму три раза пуговку, входит горничная: «Нет ли, madame, веревки, перевязать чемодан?» – «De la ficelle autant que monsieur voudra»[6]. Она приносит веревку, я шарю в кармане, чтобы сыскать франк, и нахожу ключ. Фу, как глупо! Я с ненавистью посмотрел на его бородку, на его дырочку, даже швырнул его на пол, потом поднял и бросился в омнибус. Мелкий дождь, начавшийся с утра, продолжался.

В омнибусе, очень сальном и пропитанном особым, но скверным запахом, который распускался в весь букет в сырую погоду, были отмежеваны местечки для тощих и почти беспозвоночных французов. Втеснившись кое-как я открывая окно, я сказал молодому человеку, сидевшему против меня:

– Как это странно, что в Париже такие же скверные и неудобные омнибусы, как были лет двадцать тому назад; в Лондоне, в Швейцарии, везде омнибусы гораздо лучше.

Молодой, человек сконфузился, даже покраснел.

– Да, – сказал он, – конечно, *этот* омнибус не из лучших, но есть прекрасные другой компании; впрочем, обратите внимание на лошадей: какие лошади!

Лошади были посредственные, но патриотизм велик. Что вы сделаете с страной, которая так упорно, так ревниво, так глупо, так упрямо верит, что она – краса всей планеты, что Париж – «образцовый хуторок» человечества и фонарь, зажженный на планете, по свету

---

[3] он совершенно выжил из ума (*фр.*)

[4] плеврит (*фр.*)

[5] «Коридорному звоните три раза» (*фр.*)

[6] «Веревки – сколько угодно» (*фр.*)

которого она гордо несется по своей орбите? Дело вовсе не в том, чтобы быть хорошим или счастливым, а в, том, чтобы веровать в свое превосходство и счастье.

II

Между тем мои соседи – не в омнибусе, а в вагоне – поразговорились…

– Ну, что же скажете?

– Я боюсь одного, что Прим – un ambitieux[7] и эгоист.

– Это может быть. В генералах нет никогда проку… Заметьте, у нас все генералы были реакционеры: Ла-морисьер, Шангарнье, один Шаррае остался верным демократии, но зато он был полковник, а не генерал.

– Все же он будет вынужден провозгласить республику, а это что-нибудь…

– Никогда не провозгласит, – заметил третий угол несколько хриплым голосом. Голос этот издавал седой, подстриженный под гребенку господин лет пятидесяти, с лицом Пелисье.

– Да на какой им черт республика? – одно слово, названье! Испании надобно *либеральную власть*, порядок и свободу, а не республику. Я знаю Испанию.

– А вы бывали там?

– Да, то есть не то чтобы в самой Испании, но бывал в Байоне. Я *работаю в Маконах* и по этой части бывал в Байоне.

– А я так думаю, что если *только Англия*, стоящая на дороге всякого прогресса, не воспрепятствует, то испанцы провозгласят республику.

– Вы ошибаетесь самым глубочайшим образом. Испанец слишком горд, чтобы быть без короля. Гранд какой-нибудь, весь покрытый звездами, как они представляют себя на фотографических карточках, перешедши спальней Эскуриала, – никогда не согласится быть простым гражданином.

– Да ведь рано или поздно, – заметил несколько подавленный глубокими политическими знаниями говорящего молодой человек, – Европа будет же республикой.

– Европа?.. Никогда, – заметил решительно Пелисье, работавший в Маконах, и даже провел рукой, как будто срезывая всякую возможность.

– Что же вы говорите, – а Швейцария?

– Тут-то я вас и ждал. Помилуйте, будто это республика? Я сам бывал в Женеве насчет божоле[8], – черт знает что такое. Вся Швейцария – клочок земли, да и то еще негодный, покрытый горами да скалами, и этот клочок разделен на двадцать, что ли, клочочков, из которых каждый, милостивый государь, считает себя, туда же, самодержавным, свободным государством, имеет свой суд, свою расправу – и настоящее правительство не мешайся… Ведь это смешно. Ни силы, ни приличия, ни войска; правительство не пользуется никаким уважением. Знаете ли, кто президент Швейцарского союза?.. Наверное, нет. Да и я не знаю, – вот вам и республика. Я люблю, чтобы правительство было правительством, главное – чтобы оно действовало, l'action c'est tout[9]. Где же действовать, когда каждый кантон кричит о себе, тянет на свою сторону? Силы нет, воли нет. Я сам люблю свободу, но надобно признаться: республика не идет как-то к современным нравам, к развитию промышленности и просвещенья.

– Позвольте! А Северные Штаты?

– Я их ненавижу, я… я их терпеть не могу. Для меня люди, занимающиеся одними денежными выгодами, одной наживой, – не люди. Разумеется, этим торгашам не нужно пра-

[7] честолюбец (фр.)

[8] сорт вина.

[9] деятельность – это все (*фр.*)

вительство: им достаточно конторы, фактории. У них нет души, сердце не бьется, нет этого elan[10], как у нас. Ну, что же, заступились они за Польшу?

Молодой человек, подавленный Пелисье, замолчал и взял газету; я сделал то же.

Папа зовет протестантов и католиков на вселенский собор и совет, чтобы положить предел и преграду избаловавшемуся уму человеческому, конгресс мира в Берне кладет прочное основание… война готовится со всех сторон… Все мой Пелисье, работающий в Маконах…

«*Цуг*. В высшее народное училище вызывается учитель чистой математики. Желающий обязан представить, сверх удостоверения своих знаний, свидетельство в католическом вероисповедании». Вот это хорошо.

«*Франция*. Две женщины – мать и дочь, обвиняемые содержательницей пансиона, у которой они жили на харчах, в том, что они, вопреки условию, взяли с собой на работу съестные припасы (те, которые они имели право съесть), были, несмотря на честное поведение и крайнюю бедность, осуждены на три месяца тюремного заключения»… И это недурно… но скучно, однообразно. Великий Пелисье! действительно, республика не идет к современным нравам. II faut de l'action![11]

[10] порыва (*фр.*)

[11] Нужна деятельность! (*фр.*)

III

– Все по глупости-с, – оправдывается русский человек, когда ему решительно оправдаться нельзя.

– Ты, стало быть, дурак! – говорит ему на это власть имущий.

– Не всем быть умным, надобно кому-нибудь быть «дураком», – отвечает он, если имущий власть без боя.

Хотя, собственно, настоятельной крайности в дураках нет, но, пожалуй, можно согласиться с этим извинением. Только отчего же, в свою очередь, нет такой ясно сознанной потребности *в умных*? Мудрено ли после этого, что миром владеют «нищие духом», там – как большинство, тут – как один за всех.

В сущности, все делается по глупости, только никто не признается в этом, кроме русского человека, и все ищут всегда и во всем умных причин и объяснений и потому идут всякий раз направо, когда следует идти налево, – и запутываются дальше и дальше в безвыходных соображениях и затемняющих объяснениях.

Люди выбиваются из сил, отыскивая тайные пружины, спрятанные причины, глубокие замыслы, сокровенные связи, злостные цели, коварные планы, обдуманные ковы, – всего этого *вовсе нет* и придумано после. Мир идет гораздо наивнее и проще, чем кажется сквозь призму критики и рефлекций.

Девять десятых всех злодейств делаются по глупости и наказываются по двойной, и это – не особенность злодейств, а вообще всех поступков, особенно крупных. В самых решительных событиях жизни ум не участвует или участвует, помогая глупости. Не по уму же люди, например, играют в карты, в карты *по уму* играют одни шулеры, – оттого-то они и выигрывают всегда, пока их кто-нибудь не поколотит по глупости. Не умом же собирал Споржен и легион других торговых богословов в Лондоне тысячи занятых англичан на слушание неимовернейшего вздора, проповедываемого ими.

«Вы, – кричал Споржен в Crystal Palase, – вы, ищущие со вниманием и за дорогую цену ягненка для питания вашего тела и часто обманутые корыстным торговцем, мы вам предлагаем агнца, вечно свежего, в питание души вашей, и предлагаем даром» (он забыл цену за вход)…

Где же тут искра ума?

Где искра ума в гомеопатии?

Где искра ума в юмопатии и всех заклинателях, вызывателях?

Отчего весь мир видит ясно, просто, что война – величайшая глупость, и идет резаться?..

Мудрено попять, и мудрено-то именно потому, что глупо!

Свет стоит между не дошедшими до ума и перешедшими его, между глупыми и сумасшедшими, и стоит довольно давно и прочно, если же и не устоит, так не ум же будет в этом участвовать, а бессмысленные физические силы.

Действуют страсти, страхи, предрассудки, привычки, неведение, фанатизм, увлечение, а ум является на другой день, как квартальный после события; производит следствие, делает опись и в этом еще останавливается на полдороге: ограниченный там – вперед идущими обязательными статьями закона, тут – опасностью далеко уйти по неизвестной дороге, всего больше ленью, происходящей, может быть, от инстинктивного сознания, что делу не поможешь, что вся работа все же сводится на патологическую анатомию, а не на лечение!

От этой лени и небрежности мы всю жизнь бродим в каком-то приятном полумраке и умираем в сумрачном мерцании. Все мы ужасно похожи на докторов, довольствующихся знанием, что они не знают, что делают, но что снадобья хороши.

Мы повторяем сто лет, двести лет какой-нибудь вздор и чувствуем, что что-то неладно, да так и идем мимо, за недосугом, страшно озабоченные чем-то другим.

Что же это за другое дело?..

Об этом люди еще не подумали, а, должно быть, *дело не шуточное*!..

IV

Поезд остановился. Кто-то стал отворять дверцы вагона; сначала взошел громкий смех, вслед за ним явился небольшого роста свеженький старичок, почти совершенно плешивый, с мягкими щеками, топкими морщинами и очками, из-за которых продолжали смеяться серые прищуренные глаза. На нем было два черных сюртука: один весь застегнутый, другой весь расстегнутый, он бросил небольшой мешок в угол и махнул рукой провожавшему его товарищу; тот, все еще смеясь, прокричал: «Вы большой чудак, доктор. Bon voyage, docteur!»[12] – и ушел.

Доктор протер очки, устроился, протянулся, потянулся и приготовился соснуть, как вдруг мой Пелисье разразился рядом ругательств и, бросая газету, обратился к доктору и ко мне, как к старейшим по летам, с словами:

– Это возмутительно, это черт знает что такое; вот вам французские судьи, которым завидует вся Европа. Представьте себе: этих арабов, людоедов, извергов приговорили не к гильотине, не к смерти, а к каторжной работе. C'est trop fort; n'a pas de nom![13]

Доктор улыбнулся и прибавил:

– Я по профессии за леченье, а не за убийство.

– Да-с, но позвольте, есть справедливость или нет? Есть казнь в законе или нет? Если есть, то после этого примера кого же прикажете казнить?

– Что за беда, – заметил доктор, – если после этого никого не будут казнить? Людоедство – вещь печальная, но очень редкая, кроме Африки, а казнят беспрестанно во всем образованном мире и во всем необразованном. Ведь, коли на то пошло, все же больше смысла в том, чтоб убить человека в безумии голода для того, чтоб его съесть, чем убить его на сытый желудок и для того, чтоб бросить в яму и залить известью.

«Ну, это – радикал и в самом доле чудак», – подумал я и сложил газету.

На этот раз сконфузился Пелисье. Он долго смотрел, вылупя глаза, на улыбающегося доктора и наконец вымолвил:

– Я вас не понимаю; по-вашему, этим диким зверям так и позволить есть котлеты из убитых детей?

– Я этого не говорил. Да, сверх того, они, наверно, отказались бы от этих котлет, если б у них были бараньи. Когда человек несколько дней ничего не ел, он ест без спроса.

– Голод – не оправдание.

– Нет, но облегчает виновность, пока нет средств отучить голодных от привычки есть.

– А до тех-пор, как же прикажете наказывать таких извергов?

– Как волков; вы сами называете их дикими зверями, а наказывать хотите, как образованных людей.

– Я никогда не слыхивал ничего подобного, – заметил совсем сбитый с толку Пелисье. – После этого страшно по улице ходить; встретится голодный и откусит палец.

– Полноте. Ведь мы не в Алжире, а во Франции. На что же централизация, цивилизация, полиция, юстиция, администрация? Разве мы не затем жертвуем волей, словом, умом, платим налоги, содержим духовное воинство и светскую армию, чтоб они нас защищали от голодных, диких, воров, безумных людей и бешеных собак? Если человек и умрет где-нибудь на чердаке или в подвале, то он падает жертвой для поддержания порядка. Ни в чем торжество общественного строя не выражается так мощно, как в перенесении нужд до последнего предела. И если у нас умирающий с голода похож на *съеденного* по иному способу, то он

[12] Счастливого пути, доктор! (*фр.*)

[13] Это уж слишком; это неслыханно! (*фр.*)

никогда не лишен духовной пищи и похож на тех мучеников, которых нам представляют великие художники, – снизу его обдирают, а сверху его зовет хор летающих ангелов, так что вы по лицу видите, что операция ему скорее доставляет удовольствие.

– Ну, а в Алжире чем вы украсите, выкупите голодную смерть? Там наши французы и те дичают в зуавов.

– Я в такие тонкости не вхожу. Если их религия не удерживает, долг не удерживает, пусть страх казни удержит.

– Пристращать виселицей умирающего с голода трудно, одно – embarras du choix[14].

– А позор?

– Это еще мудренее растолковать полудиким. Сегодня одного расстреливают за побег из какого-нибудь легиона, куда его взяли насильно с обязанностью убивать кого попало, завтра будут вешать Фатиму за людоедство, – толкуй им различие. Для их тупости им все кажется, что они побежденные и падают на поле сражения.

– Vous vous moquez du monde[15]. Нашли, что защищать, – заметил уже взволнованным голосом Пелисье.

– Я согласен с вами, – отвечал, смеясь, доктор, – что лучше было бы всей семье, проголодавши месяц и ничего не евши четыре дня, завернуть головы в бурнусы и умереть. Да как им растолковать корнелевское «qu'il mourut!»[16]. Для того чтоб они поняли, надобно их непременно откормить, а откормишь их – они не станут есть соседних детей. Это – логический круг! – И веселый доктор опять расхохотался. – Посмотрели бы вы своими глазами на этих урабов, как их называл один солдат, которому я резал ногу.

– А вы бывали в Алжире? – спросил Пелисье, усталый и очень встревоженный болтовней доктора.

– Лет десять жил там полковым врачом сначала, потом в лазарете. Кстати, я вспомнил этого солдата, расскажу вам лучше пресмешной анекдот об нем. Старый солдат, – он еще при Бюжо делал всякие экспедиции, – наконец-таки потерял ногу. Долго лежал он в. лазарете и ужасно любил рассказывать свои похождения. Прихожу я раз в палату, фельдшер катается – хохочет. «Доктор, говорит, сделайте одолжение, попросите ветерана рассказать историю, которую он сейчас кончил». – «Eh bien, mon vieux»[17], – говорю я и сел возле койки. Он поломался, как вызванная певица. «Самая обыкновенная история; это молодежь все хохочет, – неопытность, ничего еще не видела». – «Ну, да вы историю-то», – говорю я ему. «Это было уже давненько. Мы стояли близ Орана; дела никакого не было… Люди сильно скучали; продовольствие было скверное. Капитану жаль нас стало. Хотел позабавить солдат и велел охотникам сделать небольшую razzia[18] на урабскую деревушку и тем способом отогнать баранов. Деревушка не то чтоб бунтовала, – так, не любила нас, ну, мы, разумеется, и усмирили. Урабы, это – народ коварный, лукавый; силой не взяли, а внутри хранили злобу. Недели через две они подстерегли одного из наших, который баранов отгонял, – веревку ему на шею да на большой дороге и повесили. Капитан, разумеется, делает рапорт полковнику. Полковник взбесился; приказывает отыскать во что б ни стало убийцу. Ну, где его сыщешь, – все эти урабы на одно лицо, и не то что наши – не выдают друг друга, – к тому же уйдет в горы – и поминай как звали. Посылает капитан меня и двоих солдат: «Приведите непременно убийцу, хоть из земли достаньте». Походили мы день, другой, – ни слуху ни духу. С пустыми руками возвращаться к начальству неловко. Сели мы эдак на дороге и рассуждаем. Вдруг

[14] затруднительность выбора (*фр.*)

[15] Вы издеваетесь над миром (*фр.*)

[16] «умереть!» (*фр.*)

[17] «Ну-ка, старина» (*фр.*)

[18] набег, облава (*ит.*)

нам навстречу спускается какой-то ураб. Один из товарищей – проказник был большой – и говорит: «Бог нам послал его на выручку», – да с тем бросился на ураба, за горло его и кричать; «Зачем убил нашего солдата?» Ураб – руками, ногами; мы его повалили, связали и представили. Капитан доволен, нас с убийцей к полковнику, полковник сам вышел: «Люблю, говорит, молодцы!..» Нарядили тотчас суд. Привели нашего ураба. Полковник рассвирепел, кричит на него: «Зачем ты, собака, убил фузильера?»[19] Тот ему отвечает, – то есть ничего не отвечает; он по-французски ни слова не знал, а бормочет что-то да руками разводит и показывает на небо. «А, – говорит полковник, – так он еще запирается!» – взял да и приговорил его к расстрелянию. Ну, его и расстреляли. А уж потом как мы хохотали, – убил-то фузильера не он, а совсем другой». Ну, господа, извините, одиннадцать часов, пора спать… – и доктор задернул лампочку, освещавшую вагон.

[19] стрелка, солдата (от *фр.* fusilier)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.